

— Есть и чеснок, я его подвялила, чтоб не замерз.

Они налили детям в эмалированные кружки, развели сырой водой, а себе не стали разводить, хотя спиртное было сильнее водки. Они встали и, перекрестившись на угол, молча помянули Лизу.

Отец настелил в комнате на нары соломы, нары оказались широкие, раньше здесь гуртовалась семья. А себе и Мазурке отец постелил в кухоньке прямо на полу. Они задули свечу. Отец в потемках пошел к мальчикам и дочке и потискал их. Они послушали, как гуляет непогода за окном, но веселый треск в печи забивал пение пурги. Они враз провалились в блаженный колодец сна. Но скоро Гоша растолкал брата и сестренку, прикрыв им ладошкой теплые губы: на кухне, задавливая стон, плакали тятя и маменька. Но Мазурка опомнилась и сказала: «Ленюшка, давай еще по глоточку примем, за все хорошее, что было и что еще будет у нас и у наших деточек». И тогда мальчики и Аня снова уснули счастливым сном. Более таких счастливых снов у них, кажется, не было.

Это после, после той жизни — и в жизни этой, однажды, таким же счастливым сном забылся, вернувшись в Урийск с политзоны, последний их сын, Василий, названный в честь деда.

Но не в той — а в этой жизни Ленюшку, Мазурку и детей их старших смела ледяная метель в то заснеженное неудобье, где им всем довелось сойтись уже навеки. Но Мазурка верховодила и верховодит и там.

## По лебедям

Дедушка мой корня невидного, в станичные атаманы по косоруко-сти (одна рука у него была длинней другой) не избирался, а писарем при атамане служил, грамотным, стало быть слыл. Но после вседержавной нашей революции грамота ему не потребовалось, выгоднее было показать себя затюканным. Дед уехал из станицы в Урийск, нанялся мастером на двухпоставную мельницу, уехало с ним и прозвище его — Косорук. Скоро вся округа стала съезжаться только к деду, соответственно и навар пошел. Зажил он вполне исправно, отделил моего отца. Стал я гостевать у деда. Городские власти сподобились и построили мелькомбинат, позвали деда, и там Косорук молол первосортно.

На мелькомбинате мужиков и баб собралось немало. Когда грянула великая, многострадальная, и вымела как веником всех мужиков подчистую, дед, будучи наиглавнейшим, поначалу не тужил. Он знал, русская баба — двужильная, нагрузи воз на нее, она потянет, с одышкой, но потянет. И вправду, тридцать солдаток управлялись лихо, бедовали, конечно, потому что режим устрожился вконец, щепотку овса не возьми в карман. Пришлось перейти к испытанному огороду, огород-то и выручал.



А похоронки, словно по желобу зерно, потекли на мелькомбинат одна за другой. К сорок третьему году выкосило половину помольщиков бывших. Дед, как умел, утешал вдов.

— Бабуля, — гостюя, спросил я однажды бабушку (уж и гуд в печной трубе остыл, а за окошком обмерла луна), — где наш дедушка? Почто он долго на мельнице? — по старинке мелькомбинат звали мельницей.

Кротко вздохнув, бабуля отвечала:

— Опять по лебедям пошел Косорук.

Задремывая, я представил лебедей, намалеванных местным кустарем на клеенке, и думал: проснусь поутру — а по горнице ходит живая лебедушка, с точеной белой шеей, гордая и красивая.

Проснулся. Нет деда, нет и лебедушки.

Вечером он явился, измочаленный, за сердце держался. Бабуля кинулась баню топить, отмыла деда, стопку налила. Погибельно крикнув, он выпил и молчал.

— Тяжко, родимый? — спросила бабуля.

— По молодости оно тяжко и весело. А ныне одна неподъемность, — горестно отвечал дед. Бабуля погладила его по сухому затылку. Острые огни бедовых дедовых глаз притухли под бабулиной ладонью.

Так и поехало до самого конца войны и за войну. Нет и нет деда. Я спрашиваю:

— Бабуля, да где же любимый мой дедушко?

— По лебедям пошел, — смиренно отвечает бабуля. Я засыпаю. Зная наперед, беды особой не случится. Будет только он потерзанным и падет вялым веником на полочку в бане.

Дожили до Победы. Судьба меня закрутила, стал я все реже бывать в Урийске. Вдруг получил телеграмму: «Скончался родимый. Приезжай. Бабушка». Перекладными успел я в Урийск к похоронам.

Священник, ровесник деда, отпел раба Божия Алексия. Вынесли гроб на улицу молодцы один к одному. Все русоголовые, с сухими затылками. И сменили их вскоре под стать им. Я шел, опустив седые виски, а поднял и узнал своих дядьев, ибо кто же они были для меня, эти юноши, как не дядья, побочное Косоруково племя, в кости длинные, быстроглазые. И чинно, с приличествующей печалью шли постаревшие лебедушки, в черных по случаю гипюровых платьях.

Когда сошел в могилу гроб, лебедушки почтительно пустили к пропасти хранительницу рода и слушали шорох первой горсти, брошенной бабулей в могилу.

Потом все они обнялись и запричитали.